

Максим Горький

# Тоска



# Максим Горький

## Тоска

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=170464](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170464)*

*М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1949*

### Аннотация

Впервые напечатано в журнале «Новое слово», 1896, номера 9 и 10, июнь-июль, под заглавием «Тоска (Страничка из жизни одного мельника)».

Включалось автором в «Очерки и рассказы», 1898, и во все собрания сочинений.

Слово «ли», взятое в прямые скобки, введено в текст редакцией.

Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

# Содержание

I	4
II	39

# I

...Помолившись богу, Тихон Павлович медленно разделся и, почёсывая спину, подошёл к кровати, наглухо закрытой пёстрым ситцевым пологом.

– Господи, благослови! – прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдернул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни, фигуру жены.

Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал:

– Машина!..

Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал:

– Сказал ведь я тебе, чёрту: идём спать на сенницу; нет, не пошла! Колода дубовая!

Ну-ка, подвинься малость!

И, ткнув жену кулаком в бок, он улёгся с ней рядом, не покрываясь простынёй, а затем ещё раз крепко толкнул жену локтём. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорчённо вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рождённые луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса нерукотворенного. В рас-

крытое окно лился из сада, вместе с тихим и тёплым ночным ветром, шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с Гнедка и распяленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса; в роще, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущий звук плавал в воздухе; когда он пропадал – листва деревьев шумела сильнее, точно испуганная им, и откуда-то доносилась звонкая песнь комара.

Последив за теньями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевёл глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонёк лампадки; от этого лицо Спасителя то прояснялось, то темнело, и оно показалось Тихону Павловичу думающим большую, тяжёлую думу. Он вздохнул и истово перекрестился.

Где-то прокричал петух.

– Неужели двенадцать уж? – спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий... Ещё и ещё. Наконец где-то за стеной во всю мочь гаркнул Рыжий, из птичника ему ответил Чёрный, и весь птичник всполошился, громко возвещая полночь.

– О, черти, – сердито завозился Тихон Павлович, – заснуть не могу... чтоб вам треснуть!

Когда он обругался, ему стало как-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давила его, когда он сердился, – а когда он сердился сильно, так и совсем пропадала... Но за эти дни дома

всё шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтоб полностью отвести душу, было нельзя – не с кем и не за что, – все подтянулись, заметив, что «сам» сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы, и – чего раньше с ним никогда не было – чувствовал себя виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и ещё больше овладевало им тяжёлое, непонятное чувство, привезённое из города.

Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с весёлыми и синими глазами и ровным рядом мелких белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, – даже этот Кузьма, с которым всегда было за что всласть поругаться, стал почитителен и услужлив; песен, на которые был большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал, и Тихон Павлович, замечая за ним всё это, недовольно думал про себя: «Хорош, видно, я, чёрт, стал!» И, думая так, всё более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.

Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью, и когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал своё настроение постоянным напоминанием себе о своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всём другом, что возвышало его в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа как можно полней усладить себя ощущением сво-

ей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот вдруг стойкое, жизне-радостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжёлое и тёмное.

– Фу ты, господи! – прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном. От согретой пуховой перины ему стало жарко; он беспокойно повозился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо.

В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздались звуки сторожевого колокола.

Унылые медные звуки, слетая с колокольни, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загукала выпь, точно смеясь мрачным смехом.

Тихон Павлович встал, подошёл к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за два рубля у разорившейся соседки, старушки-помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся.

Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клёна перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта голова, в тёмном, мохнатом чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику:

– Побойся бога, батюшка! Кресло покойник Фёдор Петрович перед самой смертью купил, восемнадцать рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты полтора рубля даёшь!..

И покойник Фёдор Петрович тут же, на полу: вот его большая, кудластая голова с густыми хохлацкими усами.

– Господи, помилуй! – вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место.

За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную, тёмную стену, за нею чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи.

По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо двигается похоронная процессия.

Ризы священника и дьякона слепят глаза своим блеском; в руках дьякона позвякивает кадило, маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе.

– Свя-я... – тоненьким тенором выводит маленький, седенький священник.

– ...тый! – громовым басом гудит высокий дьякон в густой шапке чёрных волос.



– Бо-о-же, – сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную высь к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно.

– Бессме-е-ртный! – ревёт дьякон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы, – дребезг пролёток, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожающей покойника, – ревёт и, широко раскрывая глаза, поворачивает своё бородатое лицо к публике, точно хочет сказать ей:

«Эхва! Как я здорово вывел ноту-то?!»

В гробу лежит господин в сюртуке, с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная, спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно покачивается с боку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошёл за гробом, посматривая на дьякона, заинтересовавшего его массивностью голоса и фигуры. Дьякон шёл и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу не возбуждал у дьякона печальных дум о том, что и дьякон подлежит этой натуральной повинности, что придёт время, и его вот так же понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю; а он, лёжа в гробу, будет вот так же потряхивать головой и не возьмёт уж в то время ни одной, даже самой лёгкой ноты.

Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на весёлого дьякона; он остановился и, пропустив мимо себя много пуб-

лики, спросил у какого-то гимназиста:

– Кого это хоронят, милой?

Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича...

– Такой молоденький мальчишка, а не имеет никакого внимания к старшим! Драть бы вас!

Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!

Он пошёл дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо, причём шли очень быстро и не в ногу. У одного из несших всё сваливалось с носа пенсне, и он, вскидывая его снова на переносицу, непременно взмахивал при этом густой гривой рыжих волос.

«А покойник-то, видно, лёгонький, – подумал Тихон Павлович, – чиновник, надо думать, – они больше поджарые...»

Шли так быстро, точно человек, лежавший в гробу, ещё при жизни успел всем страшно надоесть и все старались как можно скорее отделаться от него. Тихон Павлович заметил это.

«Эк их гонят! Куда торопятся? Тоже люди божи! Чай, поди-ка, как жив был человек, так и то и сё, а умер – вали скорее в яму: нам некогда!»

Мельнику стало грустно: будет время, и его вот так потащат. Может быть, скоро уж – ему сорок семь лет.

«А это что такое?» – спросил сам себя Тихон Павлович, увидев на крышке гроба венки, ленты с надписями золотыми буквами и цветы. «Н-да... Значит, персона всё-таки важная.

А вот провожатые – оборвыш-народ». – Кого это хоронят? – спросил он поравнявшегося с ним благообразного господина в очках и с курчавой бородой.

– Писателя... – тихо ответил тот и, окинув фигуру Тихона Павловича взглядом, вразумительно добавил: – Сочинителя...

– Понимаем, – быстро откликнулся Тихон Павлович. – «Ниву» выписываем, доченька читала насчёт их. Из важных будут покойные-то?

– Н-нет... Не из важных... – улыбнулся его собеседник.

– Так... Ничего... Всё-таки заслуженный миру человек. Ина слава солнцу, ина слава луне... звезда бо от звезды разнствует во славе... Однако – венки...

У Тихона Павловича неизвестно почему щемило сердце, скверно так щемило – то будто ущипнёт его, то как-то сдавит.

А голосистый дьякон всё пел:

– Свя-тый бессмертный!..

И дребезжащий тенор священника, чуть пробиваясь сквозь гущу дьяконова баса, робко и тихо просил:

– По-омилуй на-ас...

Глухо топала ногами толпа провожатых, поднимая с дороги пыль; покойник всё качал головой, и надо всем этим бесстрастно сияло знойное, июльское небо.

Тихона Павловича охватило какое-то угнетение – не хотелось ни думать, ни разговаривать. Охваченный общим смут-

ным настроением толпы, шёл, чувствуя надоедливое нытьё где-то глубоко в груди и не находя ни сил, ни желанья отделаться от него.

Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гроб на бугор вынутой из ямы земли. Сделали это как-то неловко, неумело. Покойник подвалился к боку гроба, потом снова принял прежнюю позу; казалось, он посмотрел вокруг и остался доволен тем, что его перестали трясти и скоро перестанут жарить на солнце. Дьякон всё усердствовал, сотрясая воздух; священник не отставал от него; кто-то из толпы подпевал глухим голосом. Звуки носились по кладбищу и, путаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.

И вот оно – самое главное.

Благообразный господин, у которого Тихон Павлович спрашивал о покойнике, подошёл к краю могилы и, проведя рукой по волосам, сказал:

– Господа!..

Он так это сказал, что мельник даже вздрогнул и уставился на него. Глаза у господина странно сверкали. Он то опускал их в гроб, то оглядывал публику, и пауза между его восклицанием и началом речи была так длинна, что все, кто был на кладбище, успели притихнуть и замереть в ожидании. И вот раздался мягкий, грудной, такой вдумчивый и печальный голос. Говоривший плавно помахивал рукой в такт своим словам; его глаза горели под очками, и хотя Тихон Пав-

лович плохо понимал то, что говорил этот господин, однако он узнал из его речи, что покойник был беден, хотя двадцать лет он неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил и что он умер в больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, ноющая боль в груди усилилась. Он пристально уставился на него, измерил глазами его худое, измождённое лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдруг нашёл, что этот покойник похож на гвоздь. Он улыбнулся своей мысли. И в то же время благообразный господин, повысив голос, произнёс:

– Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они, наконец, забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, чёрной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора...

Как раз в это время глаза оратора остановились на лице Тихона Павловича и, поймав его улыбку, сурово сверкнули. Мельник смутился и попятился назад, чувствуя себя виноватым и пред покойником, и пред тем человеком, который рассказывал о нём.

Солнце пекло беспощадно, синее небо смотрело спокойно на ниву мёртвых, на толпу вокруг свежей могилы, а голос оратора всё звучал, печальный и задушевный.

Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного, – всех

охватывает тоска.

– Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мёртвые. И люди такие, как он, непонятны нам... – слушал Тихон Павлович.

«Верно! – сказал он тогда про себя. – Это так... Разве я не забыл про свою душу?!

Господи!»

Он вздохнул и открыл глаза. Струя тёплого воздуха влилась в окно из сада и обдала замечтавшегося человека запахом росистой травы, цветов и затхлой воды из пруда. Тени на полу дрожали сильнее, точно пробуя подняться и улететь. Мельник встал с подоконника, снова придвинул кресло к окну и подошёл к кровати. Разметавшись по перине, жена сопела и всхрапывала, широко раскинув пухлые руки. Эти руки и обнажённая грудь показались Тихону Павловичу чем-то неуместным в эту ночь и как бы задиравшим его. Сердито набросив на тело жены простыню, он взял подушку и, снова подойдя к окну, сел в кресло, положил подушку на подоконник, облокотился на неё и стал думать.

Ему вдруг вспомнилась стая белых голубей, плававшая высоко в небе над кладбищем в памятный день похорон. Он, закрыв глаза, представил себе эти белые точки в голубом небе... и молча упрекнул себя:

«Что, брат, видно, приспичило? Вот и живи теперь...

Майся!»

Внеобходимые, беспокойные, тормозящие правильное течение жизни думы шевелились в непривычной к ним голове мельника, одна за другой являлись, исчезали и снова являлись, но уже более тяжёлые. Так в ясный летний день по небу пробежит лёгкий обрывок облака и скроется, растаяв в лучах солнца... но вот ещё один... ещё... ещё... и хмурая грозовая туча, насупясь и глухо ворча, медленно ползёт над землёй. У мельника от его дум явилась какая-то особая, незнакомая ему раньше, способность всё подмечать и запоминать и ко всему прилагать вопрос: «А зачем это нужно?»

«Угнетаем мы душу!» – вспомнил мельник восклицание оратора и поёжился.

«Верно – не живёт душа-то. Дела всё – главная причина; о душе-то подумать некогда. А она вдруг и тово... и восстала, значит. Пустой час улучила да и воспряла... Вот те и дела!

И к чему очень уж много делов затевать, коли всё равно умрёшь? Для чего готовим себя, ежели гольём жизнь-то взять? Для смерти... С чем пойдём пред лицо господа? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом... Господи, помилуй!»

Тихон Павлович вздрогнул, перекрестился и посмотрел в угол на лик Спасителя. Тени от лампы всё дрожали на нём, он был строг и, казалось, всё думал свою бошьшую думу. У мельника в груди стало холодно. А вдруг он сейчас вот... или нет, завтра... Вдруг он завтра умрёт! Это бывает с человеком

– сразу, без всякой болезни упал да и умер...

– Анна! – громко зовёт Тихон Павлович. – Анна, проснись ты хоть на минутку, ради бога. Человек мучается, а она спит!

Но жена не слышит, подавленная сном. Не дождавшись её ответа, Тихон Павлович встал, оделся и, сопровождаемый её храпом, вышел из комнаты на крыльцо, постоял на нём с минуту и отправился в сад. Уже светало. Восток бледнел, алая полоса зари лежала на краю сизой тучи, неподвижно застывшей на горизонте. Клёны и липы тихонько качали вершины; роса падала невидимыми глазом каплями; где-то далеко трещал коростель, а за прудом в роще грустно посвистывал скворец. Свежо... И скворцу, должно быть, холодно...

«А и голова у этого барина! Большие у него думы... Вот бы с ним по душе поговорить.

Он бы мне и объяснил, как и что... А разве я сам что могу? Совсем и не к тому у меня голова приспособлена».

Мельник печально поник неприспособленной к большим думам головой и всё-таки продолжал думать:

«Съездить разве мне к учителю в Ямки? Он тоже тово... гвоздь! Поп Алексей говорит, что это он меня пропечатал в газете. Ишь, желторылый аспид!»

Тихон Павлович вспомнил, как ему было стыдно, когда дочь прочитала в газете о его удалой операции с кирюшинскими мужиками, и как она, закрыв лицо газетой, тихонько спросила:

– Папаша, разве это так было?



Он разозлился тогда.

– Разве грабитель отец-то твой? «Так было»! Дура, чему учишься в гимназии-то?

А было-то именно так, как написал учитель. Но – не со-  
знаться же в этом перед дочерью!

Чего она понимает? Теперь он квит с кирюшинскими: ко-  
гда у него плотину чуть не размыло и они её крепили – по-  
ловину своего воротили назад: по три целковых за день на-  
рыло содрали с него. Война! Сплошал – и кончено, – крышка  
тебе. Да... Учитель-то при этом присутствовал.

«Что, говорит, купец, и вас прижали? – И смеётся. Лицо  
у него сухое, жёлтое, строгое.

– Плохи же вы всё-таки, купец... Жадны, а плоховаты».

Мельник сердится и чувствует – правда! И жаден – прав-  
да, и плох – тоже правда.

«Скоро ли, о господи, рассветёт?» – с тоской подумал он.  
Скоро уж: алая полоса на краю тучи стала и ярче и шире.

Вот где-то разговаривают люди. Мельник подошёл к плет-  
ню и лёг на скамью возле него, чувствуя, что ему неможется  
от бессонницы. А голоса людей всё приближались...

– Не проси, Мотря, не теряй попусту слов – не останусь!

Тихон Павлович вздрогнул и привстал на скамье, опер-  
шись на локоть. Говорили близко, за плетнём, в кустах бузи-  
ны. Это Кузьма Косяк, засыпка, с кем-то.

– Не проси, говорю! Не в моей это силе, чтобы здесь  
остаться; уйду я за Кубань.

– А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-юблю, вольный ты мой! – отвечало Кузьке низкое женское контральто.

– Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распроштался, и ничего себе – повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь – своим глазам веры нет. Да разве это они – те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под забором и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперёк шляться буду... А на одном месте скучно мне...

– А меня-то? Кузя, меня-то? Я-то куда денусь без тебя? Подумай-ка! Али ты меня не любишь уж? Али ты меня не жалеешь?

– Тебя-то, тебя-то... А тебя я здесь оставлю... за вдового Чекмарева замуж выйдешь...

Дети у него есть... да ничего, сам он мужик хороший.

– Не лю-юбишь ты меня!.. – тихонько сказала женщина.

– Видно, вот люблю, коли разговариваю. Не любил бы, так не возился бы. С девками потому и время теряют, что любят их, а ежели их не любить – куда они тогда? И жалко мне тебя... да ведь как кого ни жалко, а себя всегда жалчей. Было бы, поди-ка, гораздо хуже, если мы с тобой, поругавшись, расстались. Верно ведь? А теперь вот по душам – любовно,

ласково всё выходит. Я, значит, в свою пойду сторону, ты – в свою, кому куда судьба. Эхма, чего тут толковать! Целуй, что ли, ещё разок, горленка!

Звуки поцелуев коснулись слуха Тихона Павловича и растаяли в шелесте листвы. Скворец распелся громче и веселей, петухи за мельницей встречали рассвет.

– Ох, милый ты мой, Кузя... хороший ты мой! Возьми ты меня, горюшу! – снова громко зашептала девушка.

– Вот те и на! Она опять за своё... Я её целую, милую, как путную, а она мне камнем на шею виснет. Ну девка! И всегда вот эта канитель с вами.

– Да, – али я не человек?..

– Ну, человек. А я? Я, значит, не человек? Скажет тоже... Сошлись мы с тобой полюбу... ну, и пришло время разойтись. Тоже надо полюбу. Тебе жить надо, и мне тоже; путать друг друга нам не след... А ты нюнишь! Дурашка! А ты вспомни: сладко целоваться со мной? Ну? Эх, ты... оладья...

Снова зазвучали поцелуи, прерываемые страстным, задышающимся шёпотом и глубокими стонущими вздохами.

Вдруг вершины деревьев, и всё кругом, и само небо точно дрогнуло и улыбнулось свежей, румяной улыбкой – это первый солнечный луч глянул на землю. И, как бы приветствуя его, раздался ласковый шум пробужденья сонного сада, дунул ветерок, свежий, бодрящий, полный разнообразных запахов.

Звучные теноровые речи Кузьки Косяка, тоскли-

во-страстное контральто девушки как бы смягчили ноющую боль в груди Тихона Павловича.

«Ах чёрт! – мысленно восклицал он по адресу засыпки. – Ах ты, ухобака!»

И, чувствуя зависть к этому вольному человеку, к его уверенности в своей правоте, он встал, вздохнул и хотел пойти домой.

– Пора, Мотря! Пора мне на работу! Смотри, приди уже!

– Не пришла бы, да не в мочь мне не придти-то, сокол мой! – как-то простонала девушка.

– Э, не горюй! Время придёт – слёзы утрёт. А до той поры мы ещё повидаемся не раз.

Так ли? Про-щевай!

За спиной Тихона Павловича затрещал плетень.

Как по степи ветер  
Носится, играет...

– Эт!.. Добрый день, хозяин!

Тихон Павлович снял с головы картуз и смущённо посмотрел на работника.

– Здорово!

Из-под расстёгнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь работника, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие большие глаза хитро прищури-

лись, и весь Кузьма показался своему хозяину таким гордым и важным, что мельнику захотелось поскорее уйти от него, чтоб засыпка не заметил своего превосходства над хозяином.

– Всё гуляешь?

– Пока охота да время – чего не гулять? Иное время придёт – работать буду! Чью нынче засыплю? Домолоть попову рожь али что? Да насчёт круподёрной машины надо бы хлопотать!

– Да, это нужно... Вот я тово... – проговорил Тихон Павлович и вдруг как-то помимо воли докончил: – А я, брат, лежал тут на скамейке да и слышал, как ты... с девкой-то обходился... Ловко ты с ними умеешь...

– Дело знакомое! – сказал Кузьма.

– Много, чай, ты их, девок-то, перепортил?

– А не считал... Какая порча? Чай, я не увечу их...

– Оно так, а всё-таки... Например, неужто тебе, Кузьма, не жалко девку-то?..

– Жалко... всегда бывает жалко...

– А ежели, к примеру, ребёнок? Бывало ведь, а?

– Чай, бывало, – кто их знает...

Кузьме, очевидно, начинал надоедать допрос. Он переступал с ноги на ногу и, досадливо сжав губы, крякнул.

А Тихону Павловичу понравилось то, что работник смущается его допросом, и он, уже строго нахмутив брови, продолжал:

– А грех – как? Ведь грех!

– Чего грех?

– А так-то действовать...

– Да ведь ребята-то одним, поди-ка, порядком родятся, что от мужа он, что от прохожего, – сказал Кузьма и скептически сплюнул в сторону.

– Это ты совсем напрасно. От мужа – он в законе, а ежели от тебя – куда его? Она, девка-то, возьмёт да – от сраму – в пруд дитя-то и сунет. А на тебе – грех! – донимал мельник работника, чувствуя при этом какое-то удовольствие.

– Да ведь, хозяин, коли покрепче подумать, – серьёзно и сухо заговорил Кузьма, – так выходит, что, как ни живи, всё грешно! И так грешно, и вот этак грешно, – пояснил Кузьма, махнув рукой вправо и влево. – Сказал – грешно, промолчал – грешно, сделал – грешно, и не сделал – грешно. Разве тут разберёшь? В монастырь, что ли, идти? Неохота.

Помолчали. От свежести утра Кузьма вздрогнул.

– Весёлая у тебя жизнь, брат, лёгкая, – вздохнул Тихон Павлович.

– Не жалуясь, – сказал Кузьма, передёргивая плечами.

– Жизнь приятная... да!.. Ну, что же? Иди, засыпай!

– Попову?

– Сыпь попову. Как ты это просто рассуждаешь... право! Всё грешно... Н-да... Лёгкий ты, Кузьма... как пузырь.

Кузьма внимательно посмотрел на хозяина.

– Ей-богу. Вон Митька у меня пускает: надует его на соломинку, а он весь – радугой играет и летит, полетит – и лоп-

нет.

Кузьма усмехнулся.

– Ишь приравняли к чему!

– Верно ведь. А уйдёшь ты от меня?

– Уйду.

– Да, – куда тебе? Жил бы, жалованья-то прибавлю.

– Нет, не надо. Тошно здесь, всё равно уйду.

– Жалко мне тебя отпускать-то: работник ты хороший, – задумчиво сказал Тихон Павлович.

– Нет, я уж уйду. И мне тоже вас будет жалко – привык. А уйду, потому тянет! Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себя заспорит, пиши – пропал человек.

– Вот это верно, Кузьма. Ах, верно! – Тихон Павлович даже вспыхнул весь и потряс головой, крепко зажмурил глаза. – Вот я тоже... спорю...

– Тихон Павлы-ич! Иди чай пить, – вскричала откуда-то жена.

– Иду! Иди и ты, Кузьма, начинай с богом.

Кузьма искоса взглянул в лицо хозяина и пошёл, посвистывая.

В просторной, чистой комнате у окна стоял стол с шумевшим на нём самоваром, ковригой белого хлеба и кринкой молока. За столом сидела жена – здоровая, свежая, румяная, благодушная, и всюду в комнате было много ласкового и нежаркого утреннего солнца.

Тихон Павлович медленно, покусывая бороду, подошёл к столу, держа руки назад и хмуро поглядывая в спину жены.

– С добрым утром, Павлыч! – сказала она, оборачивая к нему голову и приветливо улыбаясь. – Что это ты опять сегодня ночью-то не спал? Ты бы полечился чем. А то думно уж мне стало...

– То-то ты с дум-то и гудела всю ночь, как фабричная труба, – усмехнулся мельник.

– Уж ты скажешь... Слава господу, хоть улыбнулся, а то уж ты последние-то дни и не смеёшься, совсем пропал смех-то у тебя... Сердитый всё.

– Пропадёт, небось, от такой жизни, – вполголоса сказал Тихон Павлович.

– Али что неладно в делах-то? – тревожно спросила жена.

– Не о хлебе едином, сказано в писании... Ну вот и оправдалось. Схватило за сердце и сосёт... и будет сосать, пока простора не дашь душе... Завалили мы душу-то всяким хламом, она и стонет без воздуха-то.

– В церковь надо пожертвовать – вот и пройдет всё, – посоветовала жена.

Мельник молчал, думая про батюшку Алексея. Очень жадный поп; много раз он подставлял ногу мельнику в его операциях с окрестными крестьянами...

– А то ещё сироту взять...

– Вот это пожалуй. У Дябилкиных, к примеру.

– Налить ещё чаю-то? Ты чего накрыл стакан?.



– Не хочу.

Тихон Павлович смотрел в лицо жены, и она казалась ему такой жирной, приторной, глупой. Чего она всё улыбается?

– А доктора всё же бы надо позвать. Позвать?

– Поди ты и с доктором вместе, – зло сказал мельник и, выйдя в другую комнату, наткнулся на сына, спавшего на полу. Тихон Павлович остановился над ним и стал пристально смотреть на чёрную курчавую голову, утонувшую в складках подушки и сбитой в кучу простыни.

На смуглых щеках и на лбу ребёнка выступили мелкие капельки пота.

«Ишь ты... развалился, – подумал Тихон Павлович. – Спишь... А какая тебе в жизни дорога лежит?..»

– Тихон Павлы-ич! Вас Кузьма кличет!

Это кричит с круподёрки косоротая Марфутка. Мельник у неё в прошлом году ненароком всю семью разорил и теперь вспомнил это. Фома, Марфуткин отец, уходя на заработки куда-то, говорил ему, стоя у крыльца:

– Нельзя, значит, отсрочку-то? Та-ак... Ну, ин ладно. Прощай, значит, Павлыч! Бог тебе судья. Полагать надо, отзовутся тебе наши сиротские слёзы, взвоешь, значит, и ты, друг милой! Прощай!

И долго Фома стоял перед крыльцом, почёсывая то бок, то спину, и, с напряжённым лицом повторяя одно и то же слово по пяти раз, тянул за душу Тихона Павловича.

– Не полагается отсрочки? Та-ак...

Наконец мельник его прогнал...

«Да, разные дела бывают, – думал он теперь. – Иное, действительно, не по закону. А не сделать его нельзя. Урон репутации будет».

Но его не успокоило это рассуждение. Думы, скопляясь, давили грудь всё тяжелее.

– Поеду в Ямки, – вдруг решил он. – Марфа, скажи Егору – пусть лошадь заложит.

У дверей в круподёрку стоял Кузьма, весь седой от пыли, и, посвистывая, смотрел в небо, где в лучах солнца таяла маленькая пышная тучка. В круподёрке что-то бухало и скрипело; из-за неё с мельницы летели серебряные всплески воды и густой шорох. Весь воздух был наполнен тяжёлыми, охающими звуками и застлан тонкой дымкой пыли.

– Тихон Павлыч, ремень-то, того гляди, перетрётся, – сказал Кузьма, сплёвывая в сторону.

– Возьми там у жены новый... Идут дела? – спросил Тихон Павлович у работника и тотчас же заметил за собой, что никогда он раньше не говорил с работником так ласково, как сегодня.

– Вертятся, – ответил Кузьма, исподлобья наблюдая за хозяином.

– Ну, и хорошо... А ты – пузырь, значит?

– Ну, пузырь, коли хотите, – согласился Кузьма и повёл плечами.

– Лёгкая у тебя жизнь!..

– А на что она, тяжёлая-то?

– Верно! – Мельник вздохнул. – А ежели... умирать придётся... Тогда как?

– Придётся – ляжем и умрём, – всё более подозрительно оглядывая хозяина, ответил Кузьма.

– Та-ак. А другие-прочие люди?

– А что другие? И они умрут, придёт и их время...

– Да-а! – вздохнул Тихон Павлович. – Это так – все умрут... Грустно это для человека...

Кузьма пошевелил усами, запустил одну руку в свои рыжие волосы, другую сунул в карман шаровар и, переступив с ноги на ногу, вдруг широко улыбнулся.

– Вы бы, хозяин, поехали до города да и кутнули там всюю; вот оно вам и помогло бы!

Кузьма дотронулся рукою до плеча хозяина и захохотал. Его движение и смех поразили мельника. Он как бы потерял сознание своей личности и глупо улыбался работнику, в то же время чувствуя себя до боли обиженным им.

– Ах ты, Кузьма... Как ты это? В Ямки я поеду, это точно... к учителю...

– Валяйте-ка! Там Дуняша Дикова таким вас разговором угостит, что все мысли повыскочат, как блохи, – напутствовал Кузьма хозяина.

Минут через пять сытый гнедко Лукич солидной, развальной рысцой бежал по извилистой мягкой дороге, с обеих сторон глухо заросшей кустами орешника и калины. Гиб-

кие ветки задевали Тихона Павловича за голову, заглядывали ему в лицо, и, когда лист попадал в губы, мельник поворачивал головой, отплёвывался и всё думал о своей пошатнувшейся жизни.

«Плохо всё, плохо, – думалось ему. – Тоже... жизнь! Живёшь себе, как все, и ничего бы... А вдруг нашла вот на тебя этакая раздумчивая полоса, и всё перевернулось вверх тормашками».

В странном, прыгающем беспорядке осаждали думы голову мельника, и все они непривычны, чужды ему. Жалко прежних спокойных дней, когда всё было так ясно и хорошо.

Бывало, после вечернего чая, сидя на крыльце, он заставлял Митьку читать страшные рассказы из «Вокруг света». Около него всё семейство – жена, дочь, – а кругом так тихо, родственно. Душа спокойна, думать не о чем. Иногда попадаетесь интересная картинка: изображены на ней деревья с такими громадными узорчатыми листьями; река течёт; ширь, даль, простор, не наши русские – пустынные и скучные, – а такие заманчивые. Семейство рассуждает:

«Вот бы где мельницу-то поставить!» Поговорив об этом, снова все утонут в чём-то таком тёплом и мягком, как пуховик, и уже говорить не хочется больше. Так бы всё и сидел молча, не двигаясь.

Показались Ямки. Рассыпанные по пригорку овины, клетушки и избёнки, казалось, были кем-то сразу брошены на землю, да так и прихилились испуганно и убито, не смея вы-

строиться в одну ровную линию. Грязно-серые, ничтожные, они казались ещё жалче и бедней под покровом бесстрастного глубокого неба, раскинувшегося над ними задумчиво и важно.

«Ишь ты, тоже человеческое жильё! – думал Тихон Павлович, подъезжая к ним. – В каждой такой хорошине человеческая душа живёт. К учителю еду... Для разговору... Чудно... Будет он меня попрекать, скажет: „Ох, ты, человек, подумай о душе-то!“ А я ему: „Вали, не стесняйся!.. Каюсь – грешен... В газеты ты написал правильно, – объегорил я их. Хоть и они меня объегорили, но они меня – один раз, а я их – три! Хочешь писать – пиши! Валяй! Но прежде объясни, почему раньше ничего у меня, никакой дурости не было, а нынче вот я замотался? Предел это человеку или его собственное неразумие? Положено судьбой, или сам он выдумал?..“

Лукич фыркал от пыли, поматывал головой и, солидно скидывая ноги, подвозил своего грешного хозяина к Ямкам.

Вот и школа, похожая больше на беляну, опрокинутую вверх дном, чем на храм науки. У одного из трёх окон сидит учитель, строгая ножом какую-то палочку, и равнодушно смотрит на подъехавшего мельника.

– Доброго здравия, Александр Иванович! В гости к тебе прискакал; примешь, что ли?

– Милости прошу, – сказал учитель и ушёл от окна. Сухой тон учителя и его серьёзное, худое, жёсткое лицо смутили

Тихона Павловича, и его сердце неприятно сжалось.

Он долго копался около тележки, завязывая вожжи за облучок, прежде чем войти в школу, а проходя мимо одного окна, увидел, что учитель ставит на полку какую-то толстую книжицу и улыбается, – едко так улыбается.

– Ещё раз здравствуй! – с принуждённой развязностью сказал мельник, протягивая руку учителю. – Ф-фу, как жарко!

Учитель молча сунул ему холодные, костлявые пальцы и, кивнув головой на лавку, кратко бросил:

– Садитесь...

– Сяду, – согласился мельник и сел на скамью у окна, где прежде сидел учитель, который теперь, заложив руки за спину и покашливая, расхаживал по комнате.

Молчание. Тихон Павлович сидел, потирал левой рукой колено, а пальцами правой расчёсывал бороду, внимательно глядя в стену.

Учитель подошёл к полке и стал рассматривать книги на ней, точно желая убедиться, – те ли это книги, которые стояли тут до приезда гостя? Обоим им было неловко, и оба они это чувствовали, отчего молчание становилось всё тяжелее...

– Дело какое имеете до меня? – спросил учитель, подходя от полки к гостю и в упор глядя на него. Лоб у него сморщился, брови хмуро съёжились. Ему хотелось кашлять, но он почему-то удерживался от этого, плотно сжав губы. На

лице у него явились бурые пятна, худая, ввалившаяся грудь вздымалась высоко и нервно.

– Хм-мм... – промычал мельник, отводя глаза в сторону от учителя, и подумал про себя:

«Ледащий какой... Недолго ты, брат, наскрипишь...» – Как бы тебе, Александр Иванович, сказать?

И, говоря, мельник думает: «Тоже – гвоздь... Вроде того... покойника... Над этим слов говорить некому будет... Так в одиночку и исхизнет. Закопают его мужички в землю – и вся недолга. Хотя и он тоже пишет... однако у него кишка слаба, видно. Пишет, – а в деревне живёт... Как бы мне начать разговор?»

– Может, чай станете пить? – спросил учитель и, наконец, страшно закашлялся, схватившись за грудь руками. Лицо у него стало серое, весь он изгибался, и в груди что-то свистело, бухало, скрипело, точно там были спрятаны старые стенные часы и теперь они собирались бить.

– Можно и чаю попить, – решил Тихон Павлович. – А здорово ты кашляешь! Кажись, с чего бы это? Время летнее – тепло... а?

– Так уж... – говорит учитель, опускаясь на стул. Мельник почувствовал, что на него повеяло холодной скукой от этих простых и ничего не говорящих слов.

– Ивановна! Поставьте самовар, – крикнул учитель в окно. – Ну-с, так вот... Вы, значит, хотите говорить со мной...

– Это самое... – согласился мельник, кивая головой.

– Хорошо... Я догадываюсь, о чём именно...

– Ой ли? – воскликнул Тихон Павлович и недоверчиво улыбнулся.

– Конечно, о том, что я написал про вас в газете, – сдвигая брови, говорит учитель, озабоченно отдувает щёки и ещё суровее хмурит лоб.

– Так я и думал, что это ты писал! Непременно, мол, это он! Потому только двое могут это – ты да поп Алексей. Он тоже сердит на меня...

– Как это – тоже? Разве я на вас сердит? – удивился учитель.

– А то как же!

– Да за что?

– А кто тебя знает! Написал – да и всё; а я понимаю, как хочу...

– Позвольте! Я писал не по личной неприязни к вам, а из чувства справедливости, – вздрагивая, проговорил учитель и, подняв тон, добавил, вспыхнув: – Вы не имеете никакого права говорить, что я написал потому, что был сердит...

– Толкуй! – скептически махнул рукой мельник. – А зачем же ты писал?

– Затем, что вы поступили с кирюшинскими крестьянами нечестно!

– О! вот как ахнул! Нечестно! А они, когда у меня плотину прорвало, честно делали?

Небойсь, ты про них не написал вот?!



– Но, позвольте! – всё более разгорался учитель. Лицо у него покрылось красными пятнами, он стал заикаться, очевидно, желая сказать много и не находя нужных слов. У него странно вздрагивали уши, сверкали глаза. И мельник, глядя на него, тоже закипал.

– Чего – позвольте! Про меня написал – и про них пиши. Коли я с ними поступил не по совести, так ты знаешь, что и они со мною поступили этак же; на твоих глазах было. Однако вот ты молчишь! А говоришь – из справедливости! Эх ты...

– Ну-с, дальше что же? – спросил учитель и, вдруг как-то весь изогнувшись, кашляя и торопясь, быстро глотая слова, зачастил:

– Вы не понимаете... я не мог... я... Вы подозреваете меня чёрт знает в чём! Какая у меня может быть к вам вражда? То есть – нет... она есть! Она всегда будет! – вдруг высоко выкрикнул он.

– Ну вот! Ага! А говоришь: по справедливости! Как же по справедливости, коли по злобе? Эх ты! И жить-то тебе недолго осталось, а ты людей мутишь! Меня дочь как этой твоей писулей смазала! Родная дочь – пойми!

– Позвольте! – уже кричал учитель. – Какое мне дело до вашей дочери? Я не говорю, что к вам лично чувствую вражду, а говорю – к группе, классу.

– Ты мне мудрёных слов не говори, не надо! Я и так тебя понимаю хорошо.

– Нет, я... Вы оскорбляете меня вашими подозрениями! Вы можете опровергнуть меня фактами, доказать, что я неверно понял событие, что я неправ... но говорить...

– Я всё с тобой могу говорить, – стукнув себя в грудь ладонью и вставая со стула, с сознанием собственного достоинства заявил мельник: – Я – лицо в округе... Меня на сто вёрст кругом знают и уважают, а тебе вся цена восемнадцать рублей в месяц.

– Я не хочу... – Учитель топнул ногой и, весь дрожа, задохнулся от волнения и приступа кашля. И, пока он кашлял, со стоном корчась от боли и недостатка воздуха в поражённых лёгких, Тихон Павлович, стоя перед ним в позе победителя, громко и отчётливо, с красным возбуждённым лицом и сознанием своей правоты, отчеканивал ему:

– Эх ты, справедливый человек! Обличаешь другого, а сам себя тоже вот обличил! Какая тебе цена после этого? Я было к тебе, как к умному, с разговором приехал... поговорить по душе... А ты что? Понял ты меня? Написал! Ну что ж? И написал! А кто читал? Один поп читал... Я всё такой же, как был, так и остался... Я к тебе приехал с душой, а не с враждой, а ты гнёшь себе своё да кричишь на меня. Можешь ты на меня кричать? Восемнадцать рублей в месяц получает, живёт без всякого закона, один, как перст, а туда же – справедливость! Э-эх! Прощай, брат! Не обижаюсь я на тебя за твою дерзость, а жаль мне тебя... жаль... Прощай! Плохая твоя жизнь, и мы все умрём... не надо этого забывать... да!

Тихону Павловичу под конец его речи сделалось чуть не до слёз грустно. Учитель, охваченный припадком кашля, сидел на стуле согнувшись и, низко наклонив вперёд голову, весь дрожал. Одной рукой он держался за бок, а другой судорожно махал в воздухе, должно быть, желая остановить расходившегося купца.

Мельнику было жалко смотреть на него, и в то же время ему хотелось сказать что-то такое чувствительное, что защемило бы сердце учителя тем же чувством, которым полно его, мельниково, сердце. Но чувствительных слов не было, хотя голос дрожал и переливался нотами низкими и как бы плачущими. Мельник сознавал, что всё, что произошло между ним и учителем, очень обидно для обоих, и ему захотелось прекратить скорее эту тяжёлую сцену.

– Прощай! Не поминай лихом... предстанешь пред господом... – И, махнув рукой, он глубоко напялил на голову картуз и поспешно вышел вон.

– Нет, позвольте... – раздалось вслед ему хриплое, возбуждённое восклицание учителя.

– Ладно! – буркнул себе под нос мельник, отвязывая вожжи.

– Вернитесь... Мы должны... – появился учитель у окна. Он высунулся до половины на улицу, держась одной рукой за косяк, а другой сильно жестикулируя.

– Никто ничего не должен... Все мы – люди... – бормотал Тихон Павлович, занося ногу на подножку тележки.

– Воротитесь! – крикнул учитель.

Он очень странно крикнул. Тихон Павлович обернулся и посмотрел на него. Лицо у него было страшное, глаза мутные, лоб в поту, и горло спазматически сжималось.

Мельника кольнуло что-то.

– Э... другоряд приеду! Всё равно!

Он больно хлестнул вожжами Лукича, сразу подхватившего тележку в бойкую рысь. Учитель что-то кричал вдогонку.

– Катай! – крикнул Тихон Павлович ещё раз, ударив лошадь, и даже скрипнул зубами, желая заглушить горькое чувство, наполнявшее его.

Выехав за деревню, он несколько остыл. Лукич быстро семеня ногами по извилистой дороге среди золотой пустыни вызревшего хлеба. Впереди дороги, на горизонте, собиралась туча: тёмно-сизые, лохматые облака сползались в тяжёлую, почти чёрную массу, и она двигалась навстречу мельнику, бросая от себя на землю густую тень. И на душу ему ложились тени. Он дёрнул вожжами и, не думая, своротил влево, на более широкую и убитую колею. Туча осталась теперь справа, а впереди, в жёлтом море хлеба, был виден маленький тёмный островок леса и кое-где среди холмистой пустыни, ярко залитой солнцем, бросались в глаза широкие чёрные ленты вспаханной земли, одинокие в богатой ниве. С них на душу мельника веяло чем-то родственным ей. Лукич бежал, и навстречу ему, зеленея, приближался островок

леса, всё рельефнее выступая на ярко-жёлтом фоне нивы и мутно-голубом небе.

«А ведь это я на станцию еду! – подумал мельник, когда из-за холма показалась линия телеграфных столбов. – Не поехать ли мне в город? Лошадь со станции домой отошлю с кем-нибудь... Н-да. К учителю съездил, поговорил. Учитель! А ты учить-то – учи, да и сам тоже поучивайся, понимай вокруг-то себя, как и что. Какой бы это леший загнал меня к тебе, кабы душа к тому не понудила? И должен ты, учитель, всегда на такой точке стоять, чтобы человеку до тебя взобраться можно было. А то – эка вот! – впёрся со строгостью-то своей выше печной трубы, да и пошёл оттуда пророчить... Добродетели стопудовые!»

Чем дольше он думал, тем яснее становилось, что учитель виноват пред ним, и мельнику было приятно сознавать это...

«Эх, люди! Не можете вы обращать внимания на другого, коли он вам не нужен и вы его не боитесь. А ещё учителя! Видно, соблюдение-то своей строгости дороже вам чужой души...»

Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему, свистя и размётывая в воздухе толстый жгут белого пара, приближался поезд, наполняя воздух тяжёлым грохотом.

И грохоту поезда отвечали раскаты грома из тучи, охватившей мраком уже почти две трети неба. Через несколько минут Тихон Павлович сидел в вагоне и мчался степью, следя глазами за мелькавшими мимо окон полосами хлеба и

вспаханной земли.

Чёрное небо то и дело рвали огненные стрелы молнии, и гром гудел над быстро летевшим поездом. Шум колёс на стыках рельс и лязг сцеплений пропадали в рёве грома, а неуловимо быстрые молнии, мелькая мимо окон, слепили глаза.

«Зачем мне в город?» – тоскливо спрашивал себя мельник.

Его встряхивало, покачивало; блеск молнии заставлял его то и дело щурить глаза, грохот грома – вздрагивать и креститься. И наконец он задремал.

## II

«Куда же бы мне пойти? К кому?» – спросил себя Тихон Павлович, отойдя от вокзала квартала два, и почувствовал, что никого из знакомых ему не хочется видеть да и вообще ничего не хочется.

Всю дорогу он спал; приехав в город, пошёл в гостиницу, ел там селянку, пил чай и смотрел в окно, как шёл дождь.

Дождь шёл крупный, долго шёл – часа три, эти часы мельник провёл в думах, навевших на него какое-то оцепенение. Потом он решил уехать обратно домой, но, когда пришёл на вокзал, оказалось, что поезд уже отправился. Он сел на платформе вокзала, глядя, как маневрировали поезда, суетились разные чумазые люди – смазчики, составители, сцепщики, кондуктора товарных поездов. Поезда приходили и уходили, и Тихону Павловичу вся эта суматоха станционной жизни казалась какой-то неосновательной, непродуманной. Зачем нужно так суетиться и хлопотать, так много отвозить и привозить, коли все люди умрут? Нужно бы больше заботиться о покое... И мельнику страшно захотелось покоя, глубокого, сонного, без дум и без забот. Это желание потянуло его куда-то. Тогда он пошёл в город и шёл теперь холодный и безучастный ко всему.

На улице – тихо и темно. По небу быстро летели обрывки туч, по мостовой и стенам домов ползли густые тени. Воз-

дух был влажен, душен, пахло свежим листом, прелой землёй и тяжёлым запахом города. Пролетая над садами, ветер шелестел листвой деревьев – тихий и мягкий шёпот носился в воздухе. Улица была узка, пустынна и подавлена этой задумчивой тишиной, а глухой грохот пролётки, раздававшийся вдали, звучал оскорбительно-нахально.

Мельник шёл, заложив руки за спину, и нёс с собой свои бесформенные полудумы, полуощущения, одевавшие сердце его в холод и туман.

Вдруг откуда-то вырвалась толпа странных, точно сцепившихся между собой звуков духовой музыки и понеслась над городом в бешено громком вальсе. Одна нота была такая тяжёлая, обрывистая – уф, уф! Она совсем не вязалась с остальными и, тяжело вздыхая, лезла выше всех остальных... Казалось, что-то большое и тяжёлое грузными прыжками пробует вырваться на волю и не может.

«Зайти, что ли?» – спросил себя мельник, остановившись у отворённых ворот с двумя ярко горевшими фонарями. Прямо из ворот куда-то вдаль тянулась аллея акаций. И, ещё не решив, следует [ли] ему идти в сад, Тихон Павлович уже шёл по ней, глядя на фонари, развешенные вдоль аллеи на проволоке и бросавшие на бурую дорожку разноцветные пятна. Аллея круто повернула направо, и Тихон Павлович увидел эстраду, на ней играл военный оркестр, перед эстрадой – лавочки, на них какие-то тёмные фигуры. Ему не захотелось идти туда, – он сел на одну из скамей, стоявших по



бокам аллеи.

Шумели деревья, и над ними по небу, всё более очищая его, мчались клочки туч.

Какая-то женщина прошла мимо Тихона Павловича... Он равнодушно посмотрел ей в спину, она воротилась и снова прошла мимо. Тогда он про себя обругал её... Вдруг она направилась к нему, села с ним рядом и заглянула ему в лицо. Перед ним мелькнули тёмные, пытливые глаза, большие красные губы и прямой, красивый нос. Он степенно и брезгливо отодвинулся, и ему стало ещё скучнее.

– Скучно, купец? – спросила его соседка.

– Да-а... – протянул он, но сейчас же спохватился и хмуро сказал ей: – Проваливай... нечего даром-то лясы точить... Не таковский...

Она засмеялась глубоким, грудным смехом.

– Сердитый... Не бойся, не трону... Мне самой скучно, вот я и спросила...

Он помолчал, ожидая, что она встанет и уйдёт. Но она не уходила, а, позёвывая, продолжала сидеть рядом с ним. Он искоса посмотрел на неё – она очень молода и красива.

Музыка перестала играть и снова начала, на этот раз что-то менее шумное.

– Что же ты торчишь тут, если тебе скучно? – вдруг спросил Тихон Павлович свою соседку.

– А ты? – не глядя на него, кротко бросила она.

– Я приезжий... куда я пойду?..

– В номер, где остановился, иди, а то в трактир.

– Ишь ты! – сказал Тихон Павлович и, помолчав, прибавил: – Чай, там тоже скучно одному-то...

– Компанию найди...

– На улице, что ли, мне её подбирать?

– В трактире всегда компания есть.

– Это, положим, так... – вздохнул мельник и подумал: «А что, в самом деле – не пойти ли мне в трактир? И эту взять с собой... Может, что и выйдет?» – Ты пойдёшь со мной в трактир-то? – спросил он.

Она ответила не сразу, как-то замялась.

– Пожалуй... Человек только тут один будет искать меня.

– Ну, какой там человек?

– Нет, верно... Мастеровой один...

– На что он тебе? Плюнь, пойдём...

Ему положительно стала улыбаться мысль о хорошей пирушке.

– Да, я иду... Он, чай, навстречу, попадёт...

– Больно нужно! – сказал мельник, поднимаясь со скамьи. – Айда!

Она встала и пошла, высокая, стройная, в белом платочке на голове, рядом с ним, кряжистым человеком, в поддёвке до пят.

– Нет, кабы встретить его, хорошо бы было, – говорила она и зачем-то пояснила: – Это безрукий...

– Это как?

– Оторвало ему руки-то на машине.

– Так на что тебе его? – несколько удивился Тихон Павлович.

– А он поёт больно хорошо.

– Ну?

– Мы с ним сегодня хотели на реку пойти в рощу...

– Так... – усмехнулся мельник. – Ну, так что же теперь?

– А ничего, – кратко сказала она.

Они вышли из сада, и мельник, спросив, куда надо идти, крикнул извозчика. Подпрыгивая по неровной мостовой, пролётка с дребезгом покатила между двумя рядами домов. Было ещё не поздно. Из окон на улицу лился свет ламп и звуки голосов. Проезжая мимо одного маленького белого дома за палисадником, Тихон Павлович услышал раскаты бабистого смеха, которому вторил смех женщины, звонкий и задушевный.

«Живут люди... не дурят, не мудрствуют», – подумал он с огорчением, и ему стало обидно за себя.

– Так говоришь – без рук? – помолчав, спросил он женщину.

Она плотно прижалась к нему, держась одной рукой за крыло пролётки, а другой за его колено.

– Миша-то? Да... – сказала она.

– Так. Он кто же тебе будет? Милый друг, что ли?

– Н-ну! Тоже... Он уже старый, больной. Он давнишний наш знакомый – маленькую меня, бывало, на руках таскал.

– Ишь ты что! А отец-то у тебя кто?

– Маляр был.

– Умер?

– В холеру помер... Скоро и приедем.

– Так... А ты до этого чем занималась? – любопытствовал мельник, чувствуя, что когда он говорит, так ему легче.

– Швейка, – ответила она.

Через несколько минут они сидели в углу большого трактирного зала. Трактир был грязный, тесный, пахучий. Посреди зала за одним из столов шумела компания пьяных; у одного из окон, заставленных горшками герани и фуксий, пили чай два подозрительные человека; один – лысый, с ястребиным носом, поминутно кашлял; другой – чёрный, с солдатскими усами, меланхолично свистел сквозь зубы, глядя в свой стакан. В углу, у изразцовой печки, сидел седенький старичок с благочестивым, истомлённым лицом и сладко прищуренными глазками. Ещё несколько человек очень странно разбросаны по большой закоптелой комнате, и никто не обращал внимания друг на друга.

Мельник со своей подругой уселись в тёмном углу, у двери в маленькую комнатку, им хорошо был виден весь трактир, освещённый пятью стенными лампами. Их стол стоял у открытого окна; с улицы на них веял тёплый ветер, густой от смешанных запахов.

– Тебя как звать-то, красавица?

– Анной.

– Ну-ка, Аннушка, выпьем для знакомства.

Он налил из поставленной перед ним бутылки две рюмки водки; чокнулись и выпили.

Аннушка сняла с головы платок и стала красивее: волосы у нее были волнистые, каштановые, глаза – продолговатые, карие. Она то прищуривала их, то открывала, перебирая пальцами полной и белой руки сборки ситцевой кофточки на груди.

– А плясать ты умеешь? – спросил Тихон Павлович, рассмотрев её и найдя, что она должна быть особенно хороша в пляске, когда идёт этак боком и поводит плечом, подманивая к себе глазами...

– Пляшу... – ответила она, снова наливая рюмки.

– И выпиваешь-таки, видно? – усмехнулся мельник.

– А как же? Такая жизнь... Нам не пить нельзя... – спокойно заявила она.

– Разве уж больно тяжело? – допрашивал мельник, не скрывая недоверия к ней и насмешливо улыбаясь.

Она ответила не сразу: сначала оправила волосы на голове, отломил кусочек чёрного хлеба, понюхала его с видом записной пьяницы, потом положила в рот и, медленно пережёвывая, заговорила:

– Чай, если и вас заставить целоваться со всякой бабой, какая того от вас захочет, так и вам, даром что вы мужчина, противно это станет. А наша сестра должна... А ведь среди вас хороших-то больно мало, больше всё... такие, что, того

и гляди, стошнит. Опять же и грех... Мы не бесчувственные какие – бога помним... совестно. Иногда – особенно с похмелья – так жутко станет, что вот взяла бы да и сунула голову в петлю... Ну, сейчас возьмёшь полбутылки, да и оглушишь себя натошак-то... И втянешься... Без водки на такое дело нельзя выходить – затоскуешься...

Ещё с начала её речи Тихон Павлович почувствовал, что её глаза как-то щиплют его за сердце, остановившись на его лице и как бы стараясь запомнить его. Когда она сказала «такие», сделав паузу перед этим словом, – он почувствовал, что в этой паузе много обидного для него. А потом она заговорила о боге. Он пригласил её с собой совсем не для этого. И в душе его вспыхнуло раздражение против неё. Он строго и веско заговорил:

– Кому что назначено, тот и должен нести свою тяжесть... н-да. А вот я приехал с тобой сюда для веселья, а не для постных разговоров. Разговор такой – совсем ни при чём в нашем деле. Желаю я разгуляться и чтобы с треском... понятно? Сто целковых брошу, но чтобы был отдых душе. Чтобы вихрь был! Можешь ты мне в этом деле способствовать? Действуй – десятку дам! Но чтобы – вот как было!

Он повёл рукой по шее и мотнул головой, защурив глаза.

Она поняла его и тоже сразу вспыхнула. До этой поры он ей казался мямлей, бородачом-семьянином, который и согрешить желает только до известного предела; но теперь ей стало ясно, что он может развернуться широко. И, блеснув

глазами, она встала со стула, накидывая на голову платок и говоря:

– Так бы вы сразу и сказали, а то чешете язык, и невозможно понять – зачем? Посидите, я в минуту ворочусь. Сейчас будет гармонист, песни будем петь, спляшем... А вы, пока я хожу, переберитесь-ка вот сюда... – она указала рукой на соседнюю комнату, – да закажите чаю, водки ещё и закуски... Ну-те-ка, я тяпну ещё одну!

Она «тяпнула» рюмку водки, улыбнулась и исчезла.

А он подозвал полового, заказал ему всё, что было нужно, и перешёл в соседнюю комнату. В ней было три окна, все на улицу; в одном простенке висела картинка, изображавшая охоту на медведя, в другом – голую женщину. Тихон Павлович посмотрел на них и сел за круглый столик, стоявший перед широким кожаным диваном, над которым опять-таки висела картина, изображавшая не то луга, не то море в тихую погоду. В соседней комнате гудела публика, всё прибывавшая, звенели стаканы, хлопали пробки.

«Попробую встряхнуться... – думал Тихон Павлович, наливая себе водки. – Авось, после оживу. Будет, поваландался с собой. Кабы можно было мне понимать, как и что – дело другое.

Но понимать я не могу. Томит меня, а что томит? – неизвестно. Ну, положим, умер человек – что же такое? Дело ясное – жил, – оттого и умер. И я умру... Душу забывать не надо – это точно. Но чего она хочет? Кабы я мог это пони-

мать! – Ему вспомнился Кузька. – Он вот даёт простор себе. Живёт... и никаким думам не подвержен. А ведь у него тоже душа, ежели правильно рассудить. И у учителя душа. Однако все люди – разные. Вот и эта бабёнка – тоже: жить – говорит – совестно. А почему совестно, ежели судьба? Без божьей воли и волос с головы не падёт...»

Он тяжело вздохнул, выпил и, откинувшись на спинку дивана, прислушался к себе.

Почему-то ему представилась большая труба военной музыки в саду.

– Уф, уф, – рычала она, выбиваясь из толпы других нот. Потом он ясно вспомнил дребезг пролётки, что так грубо нарушал грустную тишину вечера.

«Разве можно самого себя понимать, коли человек, можно сказать, как мельница: целый день разные разности перетирает своим умом?» – с обидой на кого-то подумал Тихон Павлович.

Ему казалось, что он как бы раздвоился: одна его половинка незаметно для другой старается куда-то столкнуть её. Он осторожно обходил сам себя, как обходил он разных мужичков, вступавших с ним в сделки.

«Разве я спорю? – доказывал он себе, хмурия лоб. – Грешен и закоснел – понимаю... Но как мне распростаться-то? Придёт пост – буду говеть, а до той поры – уж как ни то – надо сносить».

И всё-таки, в конце концов, он ясно чувствовал, что од-



ному ему не годится оставаться здесь долго, что его опять понемногу охватывает и засасывает тоска.

«И чего эта чёртова кукла провалилась?» – с негодованием подумал он, и в ту же минуту отворилась дверь.

Перед ним стоял высокий человек в красной рубахе, пустые рукава которой свободно болтались по бокам, ниспадая с плеч. Клинообразная русая борода удлиняла бледное, испитое лицо с лихорадочно блестящими серыми глазами; длинная шея с изогнутым и вытянувшимся вперёд кадыком придавала этой странной фигуре что-то журавлиное. На ногах у него были валенки и плисовые шаровары, вытертые на коленях. Ему было, наверное, лет под пятьдесят, но глаза молодили его. Он смерил Тихона Павловича взглядом.

– Значит, вы и есть купец?..

– Я...

– Налейте мне рюмочку.

– Изволь.

– И поднесите.

– Могу.

Мельник налил водки, поднёс её к губам безрукого, и тот сразу, потянув в себя воздух, с каким-то особенным свистом выхлебнул её содержимое всё до капли.

– Закуски надо?

– Не употребляю после первой рюмки.

– Налить ещё?

– Покорно благодарю...

Он говорил высоким металлическим голосом, после двух рюмок глаза его заблестели ещё ярче, а на щеках вспыхнули два красные пятна. Тихон Павлович дал ему кусок хлеба с какой-то рыбой, тот взял его губами, сел на диван и, наклонив голову над столом, положил закуску на край стола и ел. Кусая, он далеко вытягивал нижнюю губу и удерживал ею пищу от падения на пол. Тихон Павлович смотрел на него, и ему было жалко этого изуродованного человека.

– Как это руки-то?.. – спросил он с соболезнающей нотой в тоне вопроса.

– Очень просто: попал в пьяном виде в приводный ремень – раз, два! – три месяца в больнице, и – пошёл в нищие! – быстро рассказывал калека.

– Больно-то, чай, как было! – воскликнул Тихон Павлович, чмокая губами.

– Это прошло. А что прошло, того и нет. Скверно вот то, что есть, а то бы всё наплевать.

– То есть как? – не понял Тихон Павлович.

– Очень просто: жить без рук невозможно. Даже милостыни принять нечем – вот какая подлость! Ртом ловить – зубы вышибут.

– Это верно, – засмеялся Тихон Павлович.

В калекке было что-то бойкое, бодрящее, и его глаза сверкали так умно. Тихон Павлович подумал, что, должно быть, он хороший, весёлый парень, даром что без рук.

– Аннушка – скоро? – спросил мельник.

Безрукий быстро вскинул голову, и остро посмотрел в лицо Тихона Павловича. Тому показалось, что это какой-то особенный, неприязненный взгляд, и он скосил глаза в сторону, немного смущённый.

– Вы где её подцепили? – спросил безрукий.

– В саду...

– А!..

– А что?

– Так...

– Красивая девица, – сказал Тихон Павлович, чувствуя, что неприязнь к нему всё возрастает у его собеседника.

– Тоже калека... – кратко бросил тот.

– То есть как?

– Души нет. У меня машиной руки вырвало, а у неё душу – жизнь. Жизнь у бедных людей проклятая – калечит без всякого резона. Жестокая жизнь.

Помолчали. Безрукий ёрзал по дивану, точно разжигаемый каким-то нетерпением, а Тихон Павлович, исподлобья поглядывая на него, чувствовал себя неловко, злился и чего-то боялся.

– Ещё рюмочку?

– Давайте... Но больше не надо, а то не буду петь.

– В певчих были?

– Я? Всем был – часовых дел мастером был, певчим был, смазчиком на железной дороге был, роговыми изделиями торговал, приказчиком по лесной части... Давно живу!

– Н-да... Вон как... – сказал Тихон Павлович, поражаемый бойкостью собеседника. Снова помолчали.

– А долго не идёт Аннушка-то...

– Анюта? – как-то весь перекошился безрукий. – Придёт! – И он сухо засмеялся. – Непременно придёт... Вы ей десять целковых хотели дать? Придёт – ещё бы! За десять-то целковых, когда она за рр... эх! – Он, извиваясь своим длинным телом, закашлялся. – Я эту Анюту с шести лет знаю. Н-да... Я её на руках носил, пряники ей покупал, а теперь сам вот живу под её охраной... Я ей, бывало, пряники, а она мне теперь хлеб и водку... Времена переменчивы. А люди – скоты. Впрочем, всё держится в своих законах, и человек на земле не более, как ничтожная гнида. Всё в порядке, ныть и плакать не стоит – ни к чему не поведёт.

Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломало – жди смерти! Только и есть на земле всех умных слов. Поняли? И Анюта, и я, и вы – все мы в молодости нашей потеряли всё, а нашли до сей поры шиш с маслом! И больше никаких. Всякие разговоры – пустяки и чепуха. Я прежде был другого взгляда на жизнь и очень беспокоился за себя и за других – как, мол, и что, и какой смысл, и в чём суть, и зачем, и почему... Нынче – наплевать! Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, – так, значит, надо, и я тут ни при чём. Законы-с; против них невозможно идти... И незачем, потому что даже и тот, кто всё знает, ничего не знает. Уж поверьте мне в этом случае – с умнейшими людьми вёл по

этим делам беседы – со студентами и со многими священнослужителями церкви. X-хе!

Он горел и кипятился, этот безрукий калека, кидая одну за другой свои отрывистые и туманные фразы Тихону Павловичу. Тон его речи был странен: в нём звучала и горькая обида, и безнадёжность, насмешка, и страх пред законами и силами – словами, которые он произносил с каким-то особенным подчёркиванием и понижением голоса.

Тихон Павлович мало понял из его речи, но она сообщила ему какую-то нервозную робость, он чувствовал, что калека что-то объясняет ему. И, когда безрукий сделал паузу, задыхаясь от всего сказанного, он робко и задумчиво спросил его:

– Значит, человеку некуда податься?

– Ни на вершок! – сверкнув глазами, сказал безрукий и, подвинувшись всем корпусом в сторону Тихона Павловича, добавил голосом сдавленным и строгим: – Законы! Тайные причины и силы – понимаете? – Поднял кверху брови и многозначительно качнул головой. – Никому ничего не известно... Тьма! – Он съёжился, вобрав в себя голову, и мельнику представилось, что если б его собеседник имел руки, то он, наверное, погрозил бы ему пальцем.

– Н-да-а! – протянул мельник, задумчиво теребя бороду и наморщивая лоб. – Ну, а как же душа?

– Душа?.. Младенцев, малых ребят в кабаках и других таких местах видали? Вот – душа на земле! Испытание ей дано...

– Значит, как же теперь, ежели совесть?..

– Вот – идут... – кивнул головой безрукий.

В дверях стояла Аннушка, раскрасневшаяся и тяжело дышавшая; из-за её плеча высовывалась усатая физиономия в фуражке, ухарски сдвинутой на ухо, и с насмешливо прищуренными глазами.

– Михаил Антоныч! Костя пришёл...

– Костя? – встрепенулся безрукий. – Дельно! Это восторг один! Костя, иди сюда!.. Вот, купец, человек, так сказать, талант! Вот – душа!

Из-под локтя Аннушки вынырнул худой и жёлтый юноша, сутулый, с ввалившейся грудью, с тонкими губами; они были у него полуоткрыты, и из-за них видно было два ряда зубов, чёрных, повреждённых винным камнем.

В комнате сразу стало шумно – пришедшие внесли с собою целую волну разнообразных звуков. Усатый человек с насмешливыми глазами оказался гармонистом; он сейчас же сел в угол дивана и поставил себе на колени большую гармонику с бесчисленным количеством клапанов и взял какой-то чрезвычайно высокий и бойкий аккорд, после чего победоносно взглянул на Тихона Павловича и налил себе рюмку водки.

Кроме Аннушки, пришла ещё девица – Таня, как назвал её молодой человек в пиджаке, не то ремесленник-«чистяк», не то мелкий приказчик. Они уселись к окну, а Аннушка, гармонист, Тихон Павлович, безрукий и Костя составили

группу у стола. Там, в большой комнате, народу набралось много, гудел могучий, пьяный шум.

Безрукий и Костя говорили что-то между собой вполголо-са; лицо Кости освещалось глубоко ввалившимися голубыми глазами, под ними были большие тёмные пятна. Он был в поддёвке, в красной рубахе и сапогах с набором. Аннушка что-то шептала гармонисту, лукаво улыбаясь, а тот слушал её и равнодушно поглядывал на мельника.

Все чувствовали себя несколько стеснёнными, особенно Тихон Павлович, потерявшийся при виде стольких незнако-мых лиц. От выпитой водки и разговора с безруким голова у него наполнилась туманом.

Мельник крикнул, желая обратить на себя внимание, и его поняли. Все как-то засуетились, сразу сдвинулись плотнее к столу; Аннушка вскочила с дивана и села рядом с мельником на стул; пара от окна тоже подошла к столу.

– Для начала выпьем, господа компания! – возгласил Ти-хон Павлович, и ему очень понравилось то, что он сказал эти слова так степенно, солидно, веско.

Выпили. Безрукому подал Костя, сидевший рядом с ним.

– Вы, значит, – обратился Тихон Павлович к безрукому, – как человек этакий... – Он замялся, взглянув на плечи эта-кого человека. – Вы и командуйте всем. Чтобы было весело, чтобы ходуном ходило всё... Выпьем ещё по одной для раз-вязки!

– Можно, – согласился безрукий. По мере того как он пил,

у него всё более расширились глаза и в кадке начинало что-то клокотать. – Выпьем и spoём хором! Идёт? Хорошо будет! Ты, Костя, подвывай-подголашивай, Аннушка заведёт, а вы, Марк Иванович, подтяните на гармонике.

Все заговорили сразу. Юноша в пиджаке находил, что хора не выйдет – мало голосов; гармонист согласился с ним и, очевидно, желая показаться сведущим, употреблял разные специальные термины.

– Никак не выйдет, потому все мажорные голоса, и будет один крик. Триё – вот это будет враз, – втроём, значит, нужно петь.

Аннушка, выпившая и возбуждённая, ластилась кошкой к мельнику. Он старался сохранить солидность, но уже масляно улыбался и ущипнул её за бок. Она тихонько взвизгнула и ударила его по руке. Они увлеклись понемногу, а вокруг них всё горячее разгорался спор о том, что и как петь.

– Марк Иванович, это не так! – с тоской в голосе восклицал безрукий.

– Нет, так! – глухим басом рубил гармонист.

Костя не принимал участия в споре: отвалившись спиной в угол дивана, он выпятил грудь, полузакрыв глаза и вдруг почему-то побледнел.

– Костюшка, запевай! – крикнула Таня высоким контральто и облокотилась на стол, подперев щеку рукой. Её кавалер начал что-то шептать ей на ухо, скашивая глаза в сторону мельника, обнявшего свою соседку за талию и подносявше-



го к её рту рюмку рябиновой. Она жеманилась, отворачивая голову в сторону. Таня посмотрела на неё ленивым взором тусклых синих глаз и снова приняла прежнюю позу, кинув гармонисту:

– Будет вам!

А безрукий, наклонившись к нему корпусом и брызгая слюной, громким звенящим голосом кричал:

– И опять не так! Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить её прислушаться.

– То есть это как же? – скептически возражал гармонист, хмуря брови и поводя усами.

– А так – она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку

– «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» – она и приостановится, замрёт. А тут вы её хватите сразу «Чоботами» али «Во лузях», да с дробью, с пламенем, с плясом – чтобы жгло! Ожгёте её, она и встрепенётся! Тогда и пошло всё в действие. Тут уж начнётся прямо бешенство – чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость – так всё и заиграет радугой!..

Безрукий задыхался от возбуждения и странно раскачивал корпусом, точно собираясь нырнуть на пол под ноги гармониста. Шум в трактире становился всё более хаотичным, оглушающим, пьяным.

И вдруг в него впилась высокая теноровая нота, болезненно вибрирующая, протяжная, унылая:

«Эх, да в непогоду-у...»

– Ш-ш-ш! – змеёй зашипел безрукий, вскинув кверху голову и обводя публику широко раскрытыми глазами с выражением в них и просьбы, и какой-то боязни, и удовольствия. Публика сразу притихла, уставилась на Костю, сидевшего на диване с бледным лицом и судорожно открытыми губами, из которых, взвиваясь всё выше, лились красивые, печальные звуки...

– Таня, подхвати, голубушка! – шептал молящим шёпотом безрукий.

«Ветер воет, завывает...»

– сразу перешёл Костя на речитатив.

Таня равнодушно, с видом человека, говорящего: «Могу – мне всё равно!», посмотрела на Костю и, крепче приложив руку к щеке, подхватила прежде, чем Костя кончил свой речитатив.

«А мою голо-овушку...»

– «Злая грусть терзает!...» – продолжал Костя, неподвижный и весь углубившийся в себя.

Маленький он был, сухой, жёлтый. Голос Кости, высокий, металлический тенор, дрожал, рыдая, и замирал в тоске, но прежде чем он прерывался, раздавалось густое контральто Тани. Оно задумчиво и печально плыло из её горла, ровное, безнадёжно спокойное; это делало слова песни ещё более грустными. В дверях комнаты стояла толпа людей с красными, возбуждёнными и потными физиономиями; за ней, где-

то там, в комнате, по прежнему звучали стаканы и гудели пьяные голоса, но они всё ослабевали, а толпа у дверей протискивалась дальше в комнату.

«Эх, да и пойду я в степи...»

– грустно рассказывал Костя с красными пятнами на своём лице.

«В степи-и...»

– подхватила Таня, и голос её звучал только как равнодушное эхо чужой скорби.

«Поищу там доли...»

Голоса слились и дружной, тёплой струёй ровно потекли по комнате, пропитанной запахом водки, табаку и пота, вдруг задрожали, забились, зарыдали, точно им стало тесно и тошно тут. Потом голос Кости оборвался и умолк, а Таня продолжала:

«Матушка-пустыня-а...»

– «Матушка-пустыня!» – снова вступил Костя тоскливым криком, – «Приюти сиротку-у...»

– «Приюти сиротку», – вступил третий, новый голос. Он слился с голосом Кости и, звуча в унисон ему, гибкий, тоже дрожащий, являясь как бы эхом, тенью основного звука, заплакал и застонал, выпевая только одни гласные. Это пел безрукий, закрыв глаза и выгнув свой кадык.

Контральто Тани звучало – низкое, ровное, густое, и оно стало чем-то вроде широкой полосы бархата, извивавшейся в пространстве, а на нём, на этом бархате, в фантастических

узорах дрожали золотые и серебряные нити голосов безрукого и Кости.

Публика была подавлена этим рассказом сироты о поисках своей доли. Тихон Павлович давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нём его тоску, но теперь к ней примешивалось ощущение едко-сладкое, приятно коловшее сердце. Он чувствовал себя так, как будто его обливало что-то тёплое и густое, как парное молоко, обливало и, проникая внутрь его существа, наполняло собой все жилы, очищало кровь, тревожило его тоску и, развивая её и увеличивая, всё более смягчало. В душе мельника выросла странная сладкая боль, точно льдина тоски, давившая его сердце, таяла, распадалась на куски, и они кололи его там, внутри.

Аннушка положила на плечо соседа свою голову и замерла в этой позе, потупив глаза в землю. Гармонист задумчиво покручивал ус, а человек в пиджаке отошёл к окну и стал там, прислонясь к стене и смешно вытянув голову по направлению к певцам, точно он ртом ловил звуки песни. Толпа в дверях шуршала платьем и глухо ворчала, слившись в одно большое животное.

Трое певцов пели, сами себя очаровав песней, и она звучала, то мрачная и страстная, как молитва кающегося грешника, то печальная и кроткая, как плач больного ребёнка, то полная отчаянной и безнадежной тоски, как всякая хорошая

русская песня.

«Э я сижу-у-мо-оря-а...»

– рыдал Костя, у которого от напряжения выступил пот на лбу и катился по щекам, как слёзы.

«Эо-а, э-оо-э-о-а!»

– вторил ему безрукий одними гласными. Он плотно зажмурил глаза, и ноздри его нервно дрожали, дрожали и губы и подбородок.

«Доли себе жду-у!»

– голосом, полным безнадёжности, и покачивая головой, пела Таня и улыбалась такой тоскливой, острой улыбкой.

«Душу мою...»

– звенел и плакал тенор Кости.

«Слёзы-и-и...»

Слёзы жгучи моют!..»

– дрожал голос безрукого.

Звуки всё плакали, плыли; казалось, что вот-вот они оборвутся и умрут, но они снова возрождались, оживляя умирающую ноту, снова поднимали её куда-то высоко; там она билась и плакала, падала вниз; фальцет безрукого оттенял её агонию, а Таня всё пела, и Костя опять рыдал, то обгоняя её слова, то повторяя их, и, должно быть, не было конца у этой плачущей и молящей песни – рассказа о поисках доли человеком.

– Братцы! – глухо крикнул Тихон Павлович, вскакивая со стула. – Больше не могу!

Христа ради, больше не могу!

Лицо у него было красно и всё в слезах, борода, смоченная ими, скомкалась, и в глазах, широко открытых, испуганных, полных болезненного напряжения, сверкало что-то дикое и восторженное, жалкое и горячее. Вставая, он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и, точно проснувшись, смотрела на безрукого глазами тусклыми и тупыми – тяжёлым взглядом уставшего животного.

– Душу мою пронзили! Будет – тоска моя! Тронули вы меня за сердце... то есть, часу у меня такого не было в жизни!

Таня тупо смотрела на него, и из её губ всё лились ровные, сочные ноты, тёплые, но без огня.

– Братцы! Как угли горят во мне теперь – вот какая тоска! Что теперь я сделаю? На нож пойду! – глухо гудел мельник, страшно тараща глаза и растирая грудь обеими руками. – Кутим!

С треском! Эх ты, жизнь!

Безрукий и Таня оборвали песню. Таня сейчас же налила себе полстакана водки и выплеснула её себе в рот с такой быстротой, точно и у неё там угли горели и она хотела скорее потушить их. Взволнованный и уставший безрукий молча отдувался. Он как-то сразу осунулся, у него ввалились щёки, и глаза смотрели тупо, тускло и бессмысленно.

– Налей-ка мне рябиновой, Марк Иваныч!

– Славно пели, – тихо сказал гармонист, поднося к его рту стакан.

Толпа очнулась, и поднялся хаотический шум и говор. Послышались одобрителные восклицания, ласковые ругательства.

«Доля, моя доля, где ж ты...»

– вдруг снова зарыдал тенор Кости.

Он всё время пел с закрытыми глазами и, охваченный своей песнею, должно быть, не слышал ничего, сделал паузу и вот – снова запел. Раздался хохот. Хохотали те, что стояли у двери, и с ними хохотала Таня. Показалось смешным это увлечение Кости, и смех разбудил его.

Широко открыв глаза, горящий и нервный, он посмотрел на смеющиеся физиономии, съёжился, побледнел и как-то сразу погас, превратился в того худого, жёлтого паренька, каким он вошёл сюда.

– Лапушка, пей! – угощал Тихон Павлович Аннушку. – Пей, гуляй! Кучу! Сокрушил бы я себя самого...

Гармонист взял в руки гармонику, подумал, подняв голову вверх, и заиграл что-то бойкое.

– Вот как тронули душу купца! – толкал его безрукий под столом ногой. Гармонист молча кивал головой. Около стола Тихона Павловича появились какие-то нахальные фигуры и пили его водку. Он пил со всеми и быстро пьянел. И Аннушка пьянела.

– Плясать хочу, Марк, играй камаринского! – кричала она, поводя плечами. Безрукий, нахмурившись, смотрел на неё с дивана и кусал себе губы.

– Ну, Михаил Антоныч, не сердись! Всё равно ведь! – улыbnулась она ему, заметив его мину. – Один раз жить на свете...

– Баба, хоть четыре жизни живи, всё скотиной будет! – зло кинул он ей.

– Друг! не ругайся! Она – милая девица, я её люблю! – бушевал мельник. – Тронули вы мне душу и очистили её. Чувствую я теперь себя – ах как! В огонь бы полез...

– Человек никуда не должен лезть... Ты вот налей-ка мне!

– Не лезть никуда? Это – верно! Руку! Да, руки у тебя нет... Ну, поцелуемся. – Он обнял безрукого и стал целовать его. Костя наливал себе водки и пил её рюмку за рюмкой, видя, что никто за ним не следит.

– Играй русскую! Хочу плясать! – всё ещё стояла на своём Аннушка. Гармонист грянул какой-то удивительный аккорд и заиграл «По улице мостовой».

Уперев руки в боки и поводя плечами, Аннушка, соблазнительно красивая и горящая от возбуждения, павой проплыла мимо разгорячённого вином мельника и вызывающе подмигнула ему глазом.

– Эх ты! Пошёл и я! – ухарски крикнул он и, громко топая ногами, пустился вслед за ней.

Безрукий смотрел на него, страшно оскалив зубы и вращая белками.

Снова собралась толпа и грохотала, глядя на пляшущих.

– Загулял Тихон! – угрожающе выкрикнул мельник. –



Возобновился человек! Э-эхма!

Ночью, на пятый день после описанного, Тихон Павлович возвращался со станции домой, на хутор.

С больной головой, разбитый и мрачный, он трясся в телеге и чувствовал в груди мерзкий, горький осадок после четырёхдневного кутежа. Представляя себе, как жена встретит его и запоёт: «Что, батюшка, снова сорвался с цепи-то?» и начнёт говорить о летах, седой бороде, детях, стыде, о своей несчастной жизни, – Тихон Павлович сжимался и озлобленно плевал на дорогу, глухо бормоча:

– Н-ну и жизнь!..

– Что вы-с? – спрашивал его возница, словоохотливый «Пантелей со станции», именовавшийся так в отличие от другого Пантелея – «пришлого».

– Ничего, ничего! Вези, знай! – сердито ворчал Тихон Павлович.

– Ага! Это бывает: думает, думает человек и заговорит сам с собой вслух. Бывает это от многих дум, ежели... – не унимался возница.

– Помалкивай себе! – обрывал его Тихон Павлович.

– Что ж! Можно и помолчать... – соглашался Пантелей и через несколько времени вновь заговаривал.

Хмурая ночь окутала всю степь тяжёлым мраком, и в небе неподвижно стояли ещё серые облака. В одном месте их было белесоватое, странное пятно – это луна хотела пробиться

сквозь тучи и не могла. Приехали к плотине.

– Стой! – сказал Тихон Павлович, вышел из телеги и посмотрел кругом. Шагах в сорока от него тёмной, угловатой кучей рисовался во мраке ночи хутор; справа, рядом с ним – запруда. Тёмная вода в ней была неподвижна и страшила этой неподвижностью. Всё кругом было так тихо и жутко. Густо одетые тенью ивы на плотине стояли прямо, строго и сурово. Где-то падали капли... Вдруг на запруду налетел ветер из рощи; вода испуганно всколыхнулась, и раздался тихий, жалобный плеск... И деревья, стряхивая сон, тоже зашумели.

Тихон Павлович посмотрел, как вода, тронутая ветром, снова засыпала, успокаиваясь постепенно, но ещё пока покрытая мелкой рябью и точно дрожавшая, посмотрел, глубоко вздохнул и пошёл к хутору, глухо бормоча:

– Жизнь... Колесание одно только... рябь.

Но его не успокаивало это, и, чувствуя себя виноватым пред всеми и пред самим собой, он остановился, взял в руки бороду, дёрнул себя за неё, качнул головой и громко произнёс:

– Старый ты чорт, Тишка!..

– Что-с? – откликнулся из мрака «Пантелей со станции».

– Ничего, пшёл ты...

Где-то петухи пропели.